

Посвящается Розмари ¹

¹ *Розмари Вулф* (1931–2013) — единственная жена и муза Джина Вулфа на протяжении почти шестидесяти лет. (Здесь и далее примечания переводчика.)

1. ОЛДЕН ДЕННИС ВИР

Вяз, посаженный Элеонорой Болд, дочерью судьи, рухнул прошлой ночью. Я спал и ничего не слышал, но, судя по количеству сломанных веток и размерам ствола, грохот был жуткий. Я проснулся, сидя в своей постели перед камином, однако к тому моменту, когда сознание окончательно вернулось ко мне, уже не было слышно ничего, только с карниза падали капли от тающего снега. Помню, сердце выскакивало из груди, и я испугался, как бы не случилось приступа, а затем пришла неясная мысль, что приступ-то меня и разбудил — выходит, я могу быть мертв. Я стараюсь как можно реже зажигать свечу, но в тот раз все-таки зажег и сидел, завернувшись в одеяло, радуясь свету и перестуку капли, таянию сосулек, и казалось, весь дом тает, будто воск: размягчается и стекает на лужайку.

Сегодня утром я выглянул в окно и увидел дерево. Взял топорик, вышел наружу и разрубил несколько сломанных веток на куски поменьше, которые бросил в огонь, хотя было уже не холодно. С той поры, как со мной случился удар, я не могу пользоваться большим канадским топором с двойным лезвием, но по крайней мере пару раз в день читаю надпись, выжженную на рукоятке: «„Бантингс Бест“, 4 фунта 6 унций, ручка из гикори». Другими словами, инструмент был заклеямен, как молодой вол; когда я

прочитал эту надпись в трехсотый — а может, четырехсотый или пятисотый — раз, до меня дошел смысл выражения «пробу негде ставить»: на шутовины вроде моего топора (и, без сомнения, на другие вещи, особенно в те времена, когда многое делали из дерева) после проверки ставили тавро производителя; иногда это делал сам проверяющий, подтверждая апробацию. Таков был последний этап производственного процесса, после которого новинку выставляли на продажу, пометив лишь единожды. Жаль, что это пришло мне в голову только теперь, когда некому рассказать, но, возможно, так даже лучше; я заметил, что вопросов такого рода довольно много, и люди предпочитают не знать ответы на них.

Когда я еще жил с тетей Оливией, муж купил ей дрезденскую статуэтку Наполеона для каминной полки. (Полагаю, фигурка еще там — это вполне вероятно; надо лишь отыскать нужную комнату и проверить.) Гости часто удивлялись, почему Бонапарт прячет одну руку под жилетом. Так уж случилось, что я мог все объяснить, поскольку прочитал об этом где-то за год до того — кажется, в биографии Наполеона, написанной Людвигом.¹

¹ Подразумевается классическая биография Наполеона, впервые опубликованная в 1926 году, автором которой был Эмиль Людвиг, немецкий писатель и известный биограф. Однако в биографии ничего не говорится о причине, по которой император именно так держал руку; на эту тему существовало и существует немало теорий, упоминающих некое калечащее ранение, первые симптомы рака желудка или сильное раздражение кожи. Наиболее обоснованной и логичной представляется самая простая из них: эта поза — всего лишь наследие античности, когда считалось, что достойный и уважающий себя оратор должен прятать руку под хитон, а не размахивать ею перед зрителями. Остается лишь гадать, на что намекал Олден Деннис Вир.

Сначала я охотно разглагольствовал в надежде удовлетворить чужое любопытство (и таким образом испытать то неподдельное, хоть и едва уловимое наслаждение — приятное в любом возрасте, но сладчайшее в тринадцать лет,— которое мы ощущаем раз за разом, демонстрируя свою эрудицию и одерживая умозрительные победы). Позже — заметив, что невинный комментарий неизбежно кого-то оскорбляет,— я делал то же самое в качестве психологического эксперимента.

Прямо сейчас огонь в моем маленьком камине едва тлеет, но я тепло одет, и в комнате вполне уютно. Снаружи свинцовое небо, дует легкий ветерок. Я только что прогулялся, и, кажется, вот-вот пойдет дождь, хотя земля и так размокла от тающего снега. Прохладный ветер пахнет по-весеннему, но других признаков весны я не видел; на розовых кустах и всех деревьях по-прежнему твердые и тугие зимние бутоны; к тому же на некоторых розах все еще виднеются (словно мертвые младенцы в объятиях матерей) мягкие гнилые побеги, которые они выпустили в последнюю осеннюю оттепель.

Иногда я гуляю как можно дольше, а иногда силы быстро меня покидают, но разница невелика. Я так поступаю ради собственного утешения. Если мне мнится, что от ходьбы смерть подкрадывается к левой стороне тела, то каждую миссию я планирую тщательно: сперва к дровнице (рядом с китайским табуретом-слоном, чей паланкин служит подушкой для моих ног), затем к камину, после чего обратно к креслу у огня. Но если мне кажется, что надо размяться, я осознанно отклоняюсь от

маршрута: сначала иду к огню, чтобы согреть руки, потом к дровнице и обратно к огню, где сажусь в кресло, сияя от своих успехов на гигиеническом поприще. И все же ни тот ни другой режим не улучшают моего состояния, отчего приходится регулярно менять врачей. Вот что следует сказать про врачей: с ними можно проконсультироваться даже из могилы, и я консультируюсь с доктором Блэком и доктором Ван Нессом.

К первому я хожу мальчиком (хоть и после инсульта), а ко второму — мужчиной.

Я стою, выпрямившись во все свои шесть футов роста, и фигура моя хороша, пусть даже во мне на двадцать (доктор Ван Несс скажет, что на тридцать) фунтов меньше веса, чем положено. Посещать доктора очень важно. Даже в каком-то безумном смысле важнее, чем посещать заседания совета директоров. Одеваясь утром, я напоминаю себе, что буду раздеваться не перед сном, как обычно, а в кабинете врача. Это немного похоже на предвкушение ночи с незнакомкой, и после бритья я принимаю душ, выбираю новые трусы, майку и носки. В час тридцать вхожу в здание «Банка Кассионсвилла и Канакесси-Вэлли» через бронзовые двери, сквозь другие такие же попадаю в лифт и, наконец, через стеклянную дверь — в приемную, где сидят пять человек и слушают «Жизнь за царя» Глинки. Это Маргарет Лорн, Тед Сингер, Абель Грин и Шерри Голд. И я. Мы читаем журналы: «Лайф», «Лук», «Здоровье сегодня» и «Водный мир». Только двое выбирают «Лайф». Конечно, разные выпуски, и один из этих читателей — я, другая — Маргарет Лорн. Вообще-то передо мной целая куча номеров,

я играю в старую игру: пытаюсь расположить их в хронологическом порядке, не глядя на даты, и проигрываю. Маргарет бросает свой экземпляр и идет к доктору, а я каким-то образом понимаю, что это знак презрения. Поднимаю журнал и нахожу участок обложки, все еще теплый и слегка влажный от ее пальцев. Медсестра подходит к окну и вызывает миссис Прайс; Шерри, которой сейчас шестнадцать лет, отвечает, что та уже вошла. Медсестра выглядит обеспокоенной.

Шерри поворачивается к Теду Сингеру.

— Я...— говорит она, а потом переходит на неразличимый шепот.

— У нас у всех проблемы,— отвечает Тед.

Я подхожу к медсестре, незнакомой блондинке — возможно, она шведка.

— Пожалуйста, пустите меня к врачу. Я умираю.

— Из всех присутствующих вы последний в очереди,— говорит медсестра.

Тед Сингер и Шерри Голд явно намного моложе меня, но спорить с подобными доводами бесполезно. Я возвращаюсь на свое место, и медсестра называет мое имя — пора в смотровую, раздеваться.

Доктор Ван Несс немного моложе меня, он выглядит знатоком и одновременно самозванцем, словно медик из какого-нибудь телесериала. Спрашивает, на что я жалуюсь, и я объясняю, что живу в то время, когда он и все остальные уже умерли; у меня был инсульт, и я нуждаюсь в его помощи.

— Сколько вам лет, мистер Вир?

Я ему говорю. (Выдаю наилучшее предположение.)

Он издает какой-то тихий звук, потом открывает папку, которую носит с собой, и сообщает, когда у меня день рождения. В мае, и в саду устроили праздник, якобы для меня. Мне пять лет. Сад — боковой двор, окруженный высокой живой изгородью. Полагаю, даже по меркам взрослых двор большой, достаточно просторный для бадминтона или крокета, хотя и не для того и другого сразу; для пятилетнего мальчишки он огромен. Дети приезжают в угловатых, тряских автомобилях, словно игрушки, которые доставляют в грузовичках; девочки в розовых кружевных платьях, мальчики — в белых рубашках и темно-синих шортах. У одного мальчика есть кепка, которую мы закидываем в ежевику.

Сегодня весна — время года, которое на Среднем Западе может продлиться меньше недели, вынуждая жонкилии поникнуть от жары еще до того, как раскроются бутоны; так или иначе, это весна, настоящая весна, и ветер треплет первые одуванчики в честь их дня рождения, дескать, расти большой, не будь лапшой. Платья матерей на ладонь выше щиколоток и, как правило, неброских цветов; они предпочитают широкополые шляпы с низкой тульей и гатговые бусы. Ветер норовит всколыхнуть то одну юбку, то другую, и женщины со смехом наклоняются, хватая одной рукой подол, другой — хлопающие поля шляпы; их бусы тренькают, словно занавески в тунисском борделе.

В ветреной тени гаража на гладко подстриженной лужайке для гостей приготовлен лимонад и розовый, покрытый глазурью торт — если с одного раза задуть все пять свечей, исполнится любое желание. Моя тетя Оливия — фиалковые глаза, черные волосы — вместо торта

берет ледяную воду в большом бокале и крутит, зажимая в ладони, как будто согревает бренди; кассионсвиллская вода из реки Канакесса крутится и вертится, словно взывает к сомам и прочим рыбам. У ног Оливии белый пекинес величиной со спаниеля, и он рычит, когда кто-нибудь подходит слишком близко. (Смейтесь, дамы, но Мин-Сно и впрямь кусается.)

Миссис Блэк и мисс Болд, сестры, сидят рядом. Они — действуя сообща, словно богини-покровительницы соседствующих государств, которые объединились, дабы подвергнуть разорению поля третьего, то бишь мои — привели Бобби Блэка. У Барбары Блэк каштановые волосы, правильные черты лица и длинные мягкие ресницы; после рождения ребенка она — так говорит моя бабушка, чей смутный розовый призрак реет над вечеринкой — «набрала двадцать фунтов здоровой плоти»; но это не изменило ее цвет лица, который остается мягким и нежно-розоватым, как повелось в роду Болдов. Ее сестра — ослепительно белокурая, стройная и гибкая, как ива; слишком гибкая по меркам прочих дам, ибо с их точки зрения физическая податливость подразумевает моральную уступчивость и они подозревают Элеонору Болд во всяком (приписывая ей, сообразно собственным измышлениям и болтовне в клубе кройки и шитья, за раздачей карамелек и после службы в методистской церкви, самых немыслимых любовников: батраков и кочегаров, блудных сыновей предыдущих пасторов, молчаливого помощника шерифа).

Высокий белый дом — собственность бабушки; нашим матерям с лужайки видно, чем мы занимаемся, и